

СЫНОВЬЯ

ФЕДОР Акимович проснулся в полночь. Он с трудом поднялся с постели, опустил ноги на пол, нащупал глубокие калоши, всунул в них босые ноги, крякая и постанывая, поднялся, опираясь о кровать по очереди правой рукой, затем левой. Постоял в темноте, соображая, что он хотел сделать, по-старчески шаркая калошами по полу, подошел к комоду, нащупал кيسет, завернул цигарку, раскурил ее, затянулся едковато-горьковатым дымком, откашлялся трудно и долго и опять стал раздумывать: что его подняло в такую-то рань.

Так ничего и не придумав, выбрался за дверь, угнездился на крыльце и стал туповато вглядываться в темные силуэты домов. Крыши отекались прозрачным седовато-лимонным светом. На дорогу от них падали плоские тени. Справа, в доме Кулешова, колхозного бригадира, светилось окно кухни. Свет разбивался на два тона. Сверху яркий, снизу, через шторку, — голубой.

Федор Акимович, шурясь от дыма, смотрел на встывающее окно и безо всякой натуги представлял, как Кулешов, не мешая спать своей семье, убрался на кухню и сидит, приводя в порядок свои дневные записи. Отмечает, что не сделано и что из несделанного требуется перенести на другой день.

В общем-то Федор Акимович уважал Кулешова. Но несколько дней подряд был недоволен им. На то была причина. И о ней Федор Акимович всячески старался не вспоминать.

Воздух над деревней и по улочкам уже уложился, приобред дымовитость, постоянность. Покой деревни нарушали редкие впады собак, слышны взмахи хвостов да далекие гулы тракторов. Они лились с полей радио, привычно, будто бы это было неотъемлемой частью летней тишины.

Федору Акимовичу время отступало без малого семь десятков. И он о своих годах думал неясно, растерянно. Незаметно подкралась старость, заявила о себе постоянной колкостью в сердце, слабостью в ногах, в голове, тяжким удущем в груди во время даже небольших переходов. С десятка лет назад умерла его жена Марина. На фронте погибли двое сыновей. На Дальнем Востоке где-то в море погибла дочь.

Теперь он жил в доме с младшей дочерью Ириной. Сын ее, а его внук Васька, в городе. На него Федор Акимович тоже в обиде. Посчитай, опозорил весь их род. Сколь глубоко знает он род Свищевых, не помнит, чтобы кто пошел по поварскому делу. Бывало, что уходили от земли, но чтобы в повара... Нет, такого не бывало. Потому он о Ваське не выносил разговоры.

Федор Акимович, вспомнив в этот неурочный час о внуке, сердито засопел, в руке размял окурок, несколько не чувствуя ожога от огня, бросил его вниз и поднялся.

Обида на бригадира у старика была вот отчего. Пас он колхозное стадо тридцать лет. Знал наизусть все травы и тем немало гордился. Он мог часами говорить об овсянице луговой, о мятлике, о вязиле, о лисохвосте, о клеверах, о дощниках. Мечтал старик со скотиной пробыть до самой старости, и когда ему выписали пенсию, когда подарили подарков всяких в колхозном клубе, Федор Акимович заявил:

— Коровы меня понимают,

как я их. А оттого на рынок не пойду. Стану пастухом, да кончины своей.

А вот сейчас бригадир Кулешов отдал ему полнотью. Но как же крутился Федор Акимович, сон не приходил. Ему неоглядно в голове стояла низкорослая, широкоплечая фигура внука Васьки в белом халате у огромного котла, и обязательно этот Васька ел из того самого котла поварешкой жирные щи. Ел он, обжигаясь, норовя поболее зачерпнуть, к тому же погуце, с камого дня.

Опозорил, опозорил весь род этот Васька. И был он в детстве не как все пацаны. Другие до кровавых соплей в другой раз пластались меж собой, а этот все в одиночку ходил. То на рыбалку до зорьки уйдет, то на сеновал с книжкой упрется и день-деньской молча читает.

И то, думалось бывало старину, в ученые выйдет Васька. Знатым станет. В газете какой большой портрет его пропечатают. Вот те и пропечатали: в повара подался... Думать тебе не хому, чертяка эдакий. Испокон веку Свищевы на земле были. Хлебоброды потомственные. Сам Федор пастухом пошел, когда ему исполнилось полтора лет. А то все на селках, на лошадах, а потом на комбайне штурвальным стоял.

Раздольные сельские степи. Нет, не такие степи, как там, скажем, в России, а вот именно свои степи, сибирские. Они не тянутся до бесконечности. В одну сторону изгибами уходит полоса тишина, а с другой млеет в зноб короткая полоска берегового колка. В безветрие зайдешь в цего, потом прошибает от застоялого тепла. В нос ударяет тебе морковником, прелым листом, умятыми неосторожными шагами грибами, клубничкой разит, будто бы в киватке только-только заварили.

По утринке выйдешь, бывало, из кудытстана, как в прорубь окунешься, прохладно, роса своим блеском свежести добавляет. Еще не светло и уже не темно. И птицы такой тебе хор устроит, что помирать не хочется ни в какие годы.

А что ни лес, то обязательно за ним лога тянутся. В них трава поясная, густоющая, как бы на опаре поднимается. Прозелай, и она устареет, в корм скоту не идет.

Федор Акимович эти тонкости изучил за двадцать лет, что пастухом. А пастух он был отменный. И по сей день вместо иконки в переднем углу висит в рамке его портрет с маленькой статейкой, что были напечатаны в районной газете. Гонял он свое стадо не просто наобум, а с расчетом, по деликам: не давал траве застояться, усохнуть, пойти в дудку, семенами обезвестись, раньше срока. Всегда свеженькая травушка скотинке подавалась. В ином ресторане и виногрет таким не бывает. У Васьки, наверняка, виногрет как те трубы у пучек после цветения.

А, черт, опять этот внук непутевый в голову лезет!

(Окончание следует).

// Заветы Ленина,
1976, 31 августа, с. 4.